

ЗВЁЗДЫ В ГОРСТИ

ФРЕСКА ПЕРВАЯ

Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя, и Белья Росии самодержцу, бьют челом богомолцы твои Соловецкого монастыря келарь Азарей, казначей Геронтей, и священники, и дияконы, и соборные чернцы, и вся рядовая и болнишная братия, и слушки и трудники все. В нынешнем, Государь, во 176-м году сентября в 15 день, по твоему великаго Государя указу, и по благословению и по грамотам святейшего патриарха Иосафа московского и всея Руси, и преосвященного Питирима митрополита Новгородского и Великолуцкого, прислан к нам в Соловецкий монастырь в архимандриты, на Варфоломеево место архимандрита, нашего монастыря постриженник священноинок Иосиф, а велено ему служить у нас по новым Службникам, и мы, богомолцы твои, предания апостольскаго и святых отец изменить отнют не смеем, бояся Царя царствующицх и страшного от него прещения, и хоцем вси скончатися в старой вере, в которой отец твой Государев, и прочие благоверные цари и великие князи богоугодне препроводиша дни своя: понеже, Государь, та прежняя наша христианская вера известна всем нам, что богоугодно, и святых и Господу Богу угодило в ней многое множество, и вселенския патриархи, Иеремия и Феофан, и протчия палестинский власти книг наших русских и веры православные ни в чем до сего времени не хулили, наипаче же и до конца тое нашу православную веру похвалили, и тем их свидетельством известно надеемся в день Страшного Суда пред самым Господом Богом не осуждены быти, наипаче же и милость получитьи...

*Послание соловецких иноков
Царю Алексею Михайловичу*

(я и Жизнь)

Зачем опять и опять слоями страдание кладётся и кладётся, я клад страданий, и, Господи, нет уже вздыханий, нет прозябаний, нет души огненных восстаний, – а есть только вот эта песня: воскресни... воскресни... воскресни... воскресни...

Воскресни, душа моя, мёрзнешь во тьме. Снег алмазный – россыпью по зиме.

В санках меня тащат, лошадьё за узду. Мирь, я такую более не вернусь... не приду.

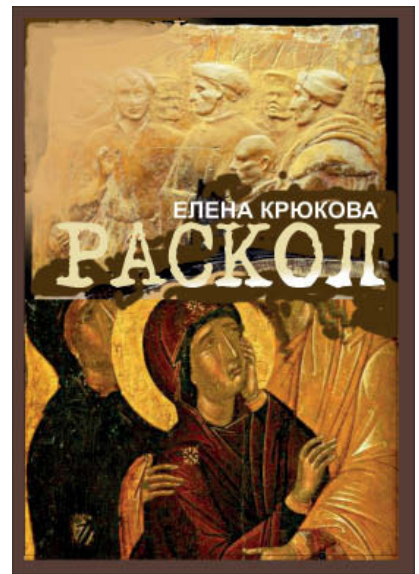
Меня увозят. Салазки дитячьи – розвальни, видишь, мои. Качусь по белизне, по счастью, по крови. Стою на Крови, икону вижу, Невидимый Свет. Господи, а страданья-то – не было и нет.

Народ ропщет, народ жаждет войны и отвергает войну. Народ, он обнимет меня одну. Народ, он сам, как я, в земляных ямах полёг. В срубях сгорел, во огненный входяше чертог.

Множество восстаёт на мя, множество топчет мя, аки червя. Раздавите в мясо-кровь, во дым!.. буду с моим Пресвятым, ночь алмазна, черна. Множество кричит мне в уши, вопит взахлёб: сгряют все Боговы души, готовь и ты себе гроб!

Ты не множество... ты одна... сама себе дудка-жалейка... сама себе неистовая жена... сама себе песня и пепел, исповеди истошной порванная струна... зимним птицам тишайшее крошево... молитвы солнечная весна...

Господи, Заступниче мой, светло-пресветлая слава моя. В санях везут – мимо, мимо Страшный мой Суд!.. – по сугробам раскиданного белья, мимо страха и плах, повитух и свах, мимо медных канунов, в красных мешках палачей – мимо упорного гласа – Нерукотворного Спаса – мимо слёз избыльных, паникадильных слепящих свечей – мимо ёлки нарядной, Горы Мировой, на вершине золотая Звезда – мимо незачем и нигде – мимо никогда, никуда – а куда?.. о, я болярыня просто, черница-сударыня, чёрная ряса за полозом метёт снег – далеко ледяные звёзды – в Распятье полночи вбитые гвозди – а я лишь отверженный человек – я уснула, и забылась, и без просыпу спала, как мертвец, и восстала – заступись за меня, Господи Боже мой, заверни в алмазное полночное одеяло – к сердцу прижми – одну меж людьми – сегодня лишь ночью, сегодня – взвихрется расшитый опалами, перлами, лалами, смарагдами угольный, мрачный плат – нет пути назад – а лишь сани – по дороге Господней – вдаль да меж сугробов – от колыбели до гроба – от могилы до колыбели – не убоюся тьмы тем врагов, войска без берегов, солдат, что на копия вздеть сумели – да не в Геенну Адову, а к небесам – Ты воскреснешь Сам – а я что, на копьях побуду под звёздами, да в яму – я робёнок Твой, я хочу домой!.. санки катят, катят упрямо – о, воскресни скорей, мой Царь Царей, в санях последних качусь и плачу – одна меж зверей – одна меж людей – по ладони Твоей, гвоздём пробитой, в крови горячей – мать за верёвочку санки везёт – последний поход – мылись в бане, парильне злой, многолюдной, и вот домой – по снегам плывёт деревянный плот – моё Распятие, санный мой Крест немой – жизнь в санях тех навывлет пересекла – вот и все дела – Боже мой, подступает мгла – да она ведь живая, грешная тьма Твоя – к телу липнет мокреть белья – а душа-то сходит с ума – все враждуют друг с другом!.. и – по кругу, по кругу... зубы скалятся, смех и грех... мимо, мимо – ненавидящих и любимых – мимо проклинаящих всех – мимо всех, кто в толпе украдкою крестит – кто назавтра повесит на стене – мой избитый, изгрянённый, расколотый лик – раскололи нас – а шепчу: воскресни... без любви – никто не привык... нам любви бы... любви не иму... сани мимо, мимо... помрачённо пылают снега... подо мной, надо мной... Ты дверь неба открой... полоз – по снегу... зга и мга... Господи, Ты еси моё спасенье... Ты моё Воскресенье... и на мне, катящейся в вечную тьму во детских санях – Твоё нежное, алмазно-снежное, безбрежное благословенье – звёзд Твоих уста – на лбу... на устах...



Обложка книги

(Аввакум и Детство)

Три Лица над временами висят. Смещаются времена многожды и стократ, переслаиваются, жарятся на чёрной сковородке, аки блины... а я всё вижу, вижу самоцветные сны... А я всё зрю да зрю, яко робёнком, беспросветные сны – как, грудью противу ветра, в санях скольжу поперёк да восточной стороны; как Солнце, навстречь сам себе по ободу земляному качусь – а шею ко звёздам выгнул, инда бессловесный сребряный гусь! Рыба да птица... спицы в колеснице... колёса иных, занебесных телег... мне моё детство всё снится да снится, я ведь лишь человек, а землетряс повозку мою колыхает, трясётся октябрь

и январь, гудит-дрожит в застенке седая столешница, без пищи, пуста, нагая... жена, хоть к вечеру воли изжарь... Хоть немереной, кровавой, вкусной свободы, – с пылу-жару схвачу, обожгусь... зубы волчьих в жизнёшку вонжу... на краю лавки в темнице молчу... с изнанки, свиной кожи, испода... возожгу себя, аки свечу... Три Лица, всево лишь Три Лица, а и кто они, да знамо, кто: один – батька, другая – матка, попере́д родильного крика я, брадатый, битый-распятьый, молочный мороз хватаю голодным ртом... А кто ж третий-то Лик? не различу... старик... колыхается мрачным златом линь-щека, скула чешуйчато-морщена, струятся власы-серебрянка... Он глядит на меня краткий миг, всево лишь миг... и мне страшно: взрыхлили небесную пашню, вместо храмины Божьей – гомон, гул, гулянка... А вы!.. Родину нашу надвое раскололи. Разрубили, яко огнём да мечом, надвое – луг, надвое – поле, надвое – сердце: гляди, што почём... Раскол! а и кто там снова жжёт себя в срубе?.. сожигает, Господу Богу во славу, катятся перлами глаза, бормочут вешней водою, поют заполярным ветром губы, вот он, лютый огонь, небесная – на полмира – держава! Там-то, в небесех, наше Царство!.. наш хлебный кус!.. музыка наша!.. на кимвалах, систрах, тимпанах сыграйте!.. а и што сыграть-то вам?.. полную крови чашу?.. да, Граалеву чашу, испейте вволюшку крови Господней, не умирайте...

Я качусь в санях. Это детство моё катит малюткой-болярином из погибшей в полях, срубовой чёрной бани. Это детство моё везёт меня прочь от себя, уцепившись мохнатым когтистым котом за бечёвку. Это детство, детство моё я всё ловлю, ловлю сухими губами, а чрез миг – солёными: плачу морями полынных слёзынок, насыщаюсь великими стонами, ведь нынче лишь во смерти ночёвка... Лишь дорога, дорога, – она одна чрез всю земельку, дорога-дорога! Лишь судьба-судьба, – ведь она одна, моя судьба, другой уж не будет. Лишь Раскол мой, Раскол, всё расколото, от Ада до Бога, – увези мя, Боже, на себя непохожего, во огненной дрожи, снова в детство... увезите меня туда, люди, люди, о люди...

Ох ты, детство моё... на морозе бельё... неба синий котёл... уха облаков... плыл осётр, да и был таков... плыла стерлядка, да была такова... на морозе гаснет трёхрядка, скоморошья иней-трава... на морозе гибнут безумные Божьи слова... а я жив... и вера моя жива... власть моя умрёт... а вера моя живёт... синий огонь под полозом, звёздный лёд... сколь страданий ищю, родная моя попадья, претерпеть... ищю жизни треть... ищю вечности треть... бичеваний плеть... погост и повесть... кандальная клеть... окладная медь... люди, я просто в санках козявка, малёк... снег алмазно слепит... путь ночной далёк... путь ночной широк... лёт ночной высок... надо мной, робёнком, во всю глотку хохочет мой Бог...

Закину башку в бараньей ушанке: Три Лица... в зените Три Лица... острее зрак вонзи, прищурься, молись, эх, гляди-ка... Непостижимы... неприступны... присносущны... трисианны... То Детство моё, то Любовь моя, то Смерть моя: неведомы, мимохожи, без шерсти-кожи, любовью больны, чужестранны... Вчера явлены, нынче сновиденны... в Новолетие вечны, сей же час бренны... То златом иконным горят, то лисьей кистью писаны, будто парчовой гордыни парсуны... то мерцают, ровно глаголица гнева, ровно заречные молнии-руны... рокочут, ливня лунные струны... А я всё в санках качусь, да санки те уж сами с усами, самобранно, чудесно по снегу свишут, и я в них сижу, ввечеру – Царь, а поутру – Золотарь, оборванный Нищий, и я, зри, народ, заутра воссяду на Судилище Грозное со всеми избранниками твоими, и я, беспородный щенок, вою жизнь напролёт, из гончих, звонкого лая Царских пород, лишь робячье, заячье повторяю имя – лаской мамки... за звёздной печкой... за треском дров, тепло насыщает кров, ищю ништо не свершилось... ищю никто не казнён, не убит... ищю нигде не болит... вот так, посидим у огня, обними крепче меня, пусть великое небо во срубе горит... немного ищю, во сне, в ночи, в тишине... сделай милость...

(мальчик Аввакум ищет дом: письмо с войны)

Стреляют. Очень страшно! А на улицу всё равно очень хочется. Я выбегаю на улицу с горящей свечой в руке. Когда возле моего лица горит огонь, не так страшно. Я с огнём разговариваю. Он живой. Выбегаю гулять, когда темно. Сегодня выбежал с огнём во двор и увидел в небе тень. Отец уже спал, мама уже спала. Раздался визг, потом я оглох и зажмурился. Когда открыл глаза, вижу: вместо нашего дома руины и осколки кирпичей. Я хотел пить, но не было воды. Колодец засыпало осколками. Из-под кирпичей сочилась кровь. В доме были отец, мама и старая бабушка. Свеча у меня в руке погасла. Я понял: я должен идти искать дом. Я теперь должен найти дом. Мой дом. Во что бы то ни стало найти.

(из послания великого Художника в Вечность)

Возьми, милый друже, возьми в руки-то. Не бойсь. Подойди. Ближе, ближе. Думаешь, голубь? Нет, друже. Раковина. Тако серебристо выгнута, и перламутром вся горит, перекатываются внутри нея лучи и стрелы, диковинные сполохи, разноцветье, самоцветье. Огромная та раковина, да, ну же, брось страшиться, ближе, ближе. А в ней, в раковине той, да не щурься, не алей скулами, лице свое не отвёртывай прочь, гляди, гляди, – две нагая девицы разлеглись. Развалились! Отдыхают. Вроде дремлют. А может, бодрствуют, да так, хитрят, из-под сомкнутых век, смекай, на волюшку взирают. На волю – из перламутровой той клетки. Рыбьей, подводной тюрьмы. Любое роскошество – гибель, коли оно раздвигает душу алмазной солью. Крошка льдяная, алмазная сыплется, сыплется... с небес, отвес... и укрывает землю. Всю её, матушку, толстым блёстким платом, покрывалом святым, седым укрывает, закутывает: яко покойника, а может, яко младенчика. Лежат в Раковине голые девки! Красивые! И при взгляде на них не хочу и помышлять о худом, и чувство худо мя не посещает, вот хоть ты режь мя. Нет порока во красоте. Внутри красоты – греха нет. А лишь чистота. И на голые прекрасные, Божественные телеса мелкое крошево алмазное с зенита, из волглых туч всё сыплется, сыплется... летит... Вот недавно хоронил я друга, друже мой, друже верный. Друга старово, старинново хоронил. И даже отпевал. Возле гроба драгово зело печальный, недвижно, инда воротный столб, стоял. Мёртвое лицо друга моево, родней родново, возлюбленново, во гробе созерцал. Серое-мышинное. Бледное. Временем выпитое. Маленькое, жалкое: вроде как усох он после кончины, и голова стала как у робёночка, в подушку атласную вжалась, вросла. В гагачьих перьях подушечных – глубоко утонула. И сам весь уменьшился, укоротился, будто ево топориком стесали, ложкой повыхлебали, инда кашу овсяную. И то, съела ево жизнь, сожрала. И нас всех жизнь сожрёт; а смертушке одне объедки на трапезу оставит. Нечем ей будет поживиться. Вот и злится она. У гроба толкуются люди, люди... а снег валит и валит с небес, незримый. Уж весь лик усопшево моево друга засыпал, уж весь атлас подушки развышитой, холстину рубахи распоследней, подземной перлами унизал... а всё валит, и валит, метёт и метёт. Всё метёт! И удержу нет. И покоя нет. Природа вечно беспокойна. И равнодушна. Дела ей нет до нас. Души у нея нет. А может, есть; да только мы движенья той души мощной, природной не можем поймать, уловить, цапнуть, яко летящую снежную бабочку, сжать в горячем кулаке. К сердцу прижать. Какая тишина! Люди притекают ко гробу и плачут. Последний дом, одинокая домовина, и насельник дома сего лежит покойно и спит в нём, уж не глядит из окна.

А красивые девки – глядят. В Раковине возлежат, руки закинули за головы, груди перламутровы, животы серебряны. Вот одна веками дрогнула, глаза распахнула, взгляд на меня вскинула. Али на тебя, друже? Да ты иди, иди, подойди ближе, ищо ближе! Я вот близёхонько у гроба друга моево старово стоял. Взирал на ево белую могучую браду, на впалые бледные, бледней изнанки листьев лебеды, изморщенные щёки. Помор он по рожденью, друг мой, крепкий кряж был, не сломать, разве только выкорчевать с корнем. Любого, богатырь, мог побороть. Такова силища таилась в нём. И што? Где та силища? Куда провалилась? Кому досталась? Или растаяла, аки лёд по весне, бесследно, в Реку Времён утекла?

Отпевал. Панихидные словеса громко распевал. Все молитвы без мыслей повторял, птицею летящей в чистых, пустых небесах себя чуял. Слушали люди? Не слушали? Плакали? Не плакали? Ничего не помню. Будьто над каменными плитами храма в воздухе висел. Кадило плавало, дымом плакало. Курилось, изнутри светилось. Малая планета, кованая Луна, цепь зажата в руке одна, раскачиваю звонкое небесное тело, жизнь курится, смерть так не хотела, все всё знают, как оно всё будет, да молчат, ровно звери, о смерти люди... Идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная... безконечная...

Што на меня так беспомощно смотришь, друже? Што оглянулся? Иди! Шаг! Ищо шаг! Вон она, Раковина, рядышком совсем! И девки те красивые – рядом! Ты на них – легко, невесомо дохнуть можешь, и волосы на голове у них подымутся и зашевелиятся, а потом опять опадут. В покой. В тишину. Стань на колени! Лик приблизь. Поцелуй хоть одну! Пока я... иду ко дну... ко снежному дну... по жемчужному дну... по воде, по окияну безбрежному... никоно не убью... не обману... не прокляну...

Эта Раковина, милый, – зри!.. не Раковина, а Книга. Перламутровы ея страницы. Тяжко их, жёсткие, военные, перелистывать. Буквицы на них то вспыхнут, то сгаснут. Это Книга жизни вечной, любви быстротечной. По ней можно молиться, а можно и засыпать над Ея страницами, а можно

и проклинать Ея письма, над ними беспомощно плача и воя, кулаки сжимая и над Нею живою хоругвью воздымая. Жизнь! Вот так все, все до единого, во гробах будем возлежать. Лежал и мой друг старинный, молчал, очи закрыты, речи излиты. Никогда больше не разверзнутся уста. Штоб вытолкнуть словеса о жизни... да, о жизни лишь одной, великой, смешной и большой! Перламутровой – распоследней – озёрной, морской и речной – небесною, бессловесною, озорной и шальной – до самово Бога встающей стеной! Ты поминай мя, друже мой, в молитвах своих! Ты шепчи мне, всё шепчи, друже, последний твой, поминальный стих! Я ево, аки любимое демество, до дна изучу... на ветру спою... у судьбы на краю... когда зажгут – и сожгут мя, как свечу...

Как свечу, слышишь ли, друже ты мой, мя сожгут! Умирать не хочу! Только берег крут! Только тут, с обрыва, далёко видать... то ли пытка моя, то ль благодать! Благослови, друже мой, тя Господь! Ты мне Постная, ты Цветная мне Триодь, ты мне тоже Книга, люблю все страницы в ней, все странствия, всю перебежку огней! Как ославляли – и как благословляли мя! Ненавидели как – до Суднаго Дня! Проклинали как, лобзали как, заносили надо мною казнящий кулак... А я вот он – жив! Да и ты – живой! Ищю ветр – над моею гудит головой! Ищю снег мне в бороду сыплет, алмаз... ищю раз... да ищю много, много раз... Да подаст нам, друже, Господь от щедрот Своих! Да не отымет от нас душу, дух и дых! Изольёт на нас влагу в засушливый год! А к Себе возьмёт – когда час урочный пробьёт! Ты гляди на красавиц во все глаза! Лежат в Раковине, яшма да бирюза, весь подводно-жемчужный, тающий перламутр – буревальных ночей, истомленных утр... Ешь ты, ешь, сладкие яства вкушай! Да хлебни из братины через край! Захмелей ты вволюшку – да спляши: на краю слезы, на помин души! Ткань ты ветхую, рогожу, в куски порви... не обтягивай новой кожей скелет любви... лучше наново, чисто, горько полюби вдругорядь – вишь ты, девки лежат в Раковине, краше и не сыскать!.. Упади на колени... руки тяни... вот – нагие твои ночи и дни... вот – нагие твои судьба и смерть... ни к одной не припасть... не обнять... не посметь... Так молись... широко, на полміра крестись... вот и вся она, наша святая жизнь... бита-гнута... проклята... измолочена вздрызг... в письменах обречённых кровавых брызг... помолись, штоб на столе соль, рыба и хлеб... на иконе – святой твой родимый, в нимбе судёб: житие ево страдальное – повтори... может, смерть узришь, друже мой, изнутри...

(я сама)

Я сама к тебе пришла. Слышишь ты, сама. Нет, я не схожу с ума. До юродства благословенново, благодатново мне ищю далеко. А я тебе, отче, просто горбушка ситново, просто ледяное, с погреба, молоко. И то, мя погребли – а я восстала да и пошла к тебе, отче, по выгибу родной земли, по ея буеракам, болотам, холмам, оврагам, огням... потеряла счёт летам, ночам, дням... Ну вот я тут. Это апостолы ранее приходили в веру Христову, сперва разбойничали, а потом просветлялись. А мне – Время одолеть: экая малость. А так я с Богом завсегда – и там, откуда пришла, и здесь, рядом с тобою; на закраине стола оплывает свеча... отче Аввакуме, это я. Не погаси. Нас и так Господь в свой черёд потушит на краю бытия. Я на прелесть не соблазнялась, на соблазн не косила глаз. Я всё это за спиною бросила, изникла нищая жалость, и не надобна мне никакая мірская сладость здесь и сейчас.

Ты ведаешь ли, я по монастырям бродила!.. скиталась, моталась по всям и городам... Мне Церковь давала великую силу. Мя от грязи омывал водопадом лучей Божий храм. Навстречь всем ветрам! А што будет там? Далёко?... тамо, куда иду... на костёр, на звезду...

Я тебя, отче, видала издалека. Ты прожигашь собою все века. Оттуда, из Времени, из никогда, нигде и везде, зрела всякий седой волос в твоей святой бороде. Зрела обветренные смуглые щёки, болью изрезанные стократ. Синий, пронзительный, всенебесный взгляд. Сжатый камнем кулак... родинку на скуле... Эта жизнь твоя – рекой – растеклась по земле... А я хочу в той реке плыть. А я хочу вблизи тебя пребывать. Одним с тобою воздухом дышать. С тобою вместе спастись! С тобою вместе... помирать...

Ну так што же! Хочешь, штобы я всё-превсё рассказала тебе? Изволь. Правда дрожит у мя на солёной губе. Вот вырастет пред тобой из-под земли Никитка, звать нынче Никон. Станет он Патриарх. Да ты сам себе патриарх, в зеркало взгляни-ка, а за плечами – кострища жар. Чьё кострище? Твоё? Не бойся. Таково бытиё. Ты ж сам учил малых сих: без мучений нету ни святости, ни святых.

Вот, зришь? Фигура зело мощна, нос заносчив, одежды богато расшиты перловым зерном. То твой Царь, отче. То нас всех земной Царь, и толкует всё об одном: подчинись, смирись, исполний приказ. А не то кулаком промеж глаз. А ты такой, отче, неприказной. Ты ж сам на ково хочешь пойдёшь войной!

Иду на вы... выше корабельных сосен... тише воды... ниже травы...

Ну, протопопицу тебе што казать?.. она, жена, и есть жена. Она на всю жизнь Богом дадена, одина-одна. Рождена в вере Христовой, да возвращена-воспитана в ней, всегда шла мимо болотных, диаволовых огней. Потому, што ты был рядом с ней, ты. Гласом тя ласкала: Вакушка!.. – середь житейской маяты... Вместе вы зрели на небеси знамение: как прелагалася светлая, тресветлая Луна в людскую кровь. Вместе творили неусыпную любовь. Детки рождались... а звёзды всё катились, катились кругами округ синей мёртвой Луны... Зри, я дошла к тебе избитыми в кровь, живыми ногами... прими мя опричь детишек, опричь жены... Я, может, твоё дитя наилучшее, наисвятое. Хотя кругом, отче, грешна. Просто... хочу жить и помереть с тобою... не доченька, не сестрица, не жена...

Гляди дале! Болярыня стоит поодаль. Тихохонько стоит, застыла; молчит. То знатная болярыня, не опускает громадные очи, и глазыньки ея иконописные плачут навзрыд. Звать ея болярыня Морозова, а по имечку Феодосья, стоит в расстёгнутой собольей шубейке, а боса да простоволоса, а батюшка ея был знатный Прокопей, а она сама владелица златых-серебряных копей, да все сокровища свои на веру в Господа Иисуса променяет храбро, на любовь к тебе, отченька, без тебя – рыбой об лёд, топыря жабры...

Што же ты за камень-магнит?.. в какой землице Богом отрыт... ах, в моей родной, в нижегородском окоёме... на крыше избы своя мальчонкой сиживал на соломе... И наблюдал, как Луна катит по смолянному небу. И грыз, грыз горбушку ржаново, цвета земли, тёплого, сейчас из мамкиной печи, хлеба...

Таково вижу тя, отче, робёнком... слышу, как плачешь тихо... как хохочешь звонко...

Глас человека – музыка века. Я пришла к тебе, я пришла! Из морока, криков, крови и снега. Из выстрелов из-за угла. Велишь продолжать, ково зрю?.. продолжу, изволь. Немного людей в виденьи осталось. Сыплются в жизнь твою, отче, калёная соль.

А што есть Луна, ответствуй?.. может статься, заблудшая звезда. И светит в нигде... и летит в никуда... Глядись в Луну, инда в зеркало. Видишь, там, у тебя за хребтом, всё люди-люди?.. толпятся, толкуются... ох, они тя и страшно избичуют потом...

Противостой Царю. Противостой Патриарху. Жизнь тебе – бичом и подарком. Жизнь тебе – ска-тёркой камчатной: убрусом к лику в кровиче прижмёшь – вот тебе и образ печатный... Забьют тебя, замучат за то, што веру Русскую будешь хранить. Не бойся! Мужайся! Это вьётся Времени овечья нить. Это жужжит веретено в крепких руках Настасьи, жёнки твоя. И тебе, отче, вся земля – семья, и все звёзды – семья.

Спой нынче со мною любимый Давыдов псалом на краю бытия.

Пускай нас нынче не услышит никто из людей.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей!

Молись и за Никона, и за Царя. Все люди в реке-жизни плывут не зря. От твоя долблёнки отстанут их богатые, в бухарских коврах, лоды. А ты, и умирая, живи, всё живи. А ты, и сгорая на будущем костре, бороду к небеси задирая в серебре, усыпанный рубинами-топазами, искрами огня, кричишь-поёшь про жизнь, значит, про меня! Ведь я не человечница, отче, нет! я твоя жизнь! Ты за меня крепче, больней на костре держись! Смерть – яко затмение Солнца! зачернение Луны! Жизни, веруй, никакие смерти не страшны! Вот видишь, я тут, и пою с тобою и о тебе; это значит – я снова слеза на твоей губе; это значит – я проповеди твоя ночной тихий хрип, я под твоею стопой в темнице – половицы скрип, раскинь крестообразно в огне руки твои, ты сгораешь во любви и во имя любви, ты станешь пеплом звёзд, перегноем небес, а потом на востоке над Мiромъ взойдёшь, озарив дол и лес!

А сейчас – просто, отче, тебе Аллилуия моя! Хрипло, радостно пою тебе я! Трижды славим Господа! Трикраты в Пасху лобзанье! Трисвятое пенье, знаменный распев, широкое, на полмира, дыханье...

Всё ли понял ты, отче? Всё ли так я тебе рассказала? Отца, Сына, Духа Святаго помянула с конца и с начала? Тот ли спела заветный псалом? То ли Демество по гласам распела? Ты-то понял, што мы с тобою живём там, в ночных небесах, без края-предела?.. Там, округ белоликой Луны, над холкой Медведицы звёздной, где ветра сшибаются, где Илья в колеснице и Езекииль могучий и грозный, а рядышком с ними и ты, отченька Аввакуме, в лучистом хитоне, на звёздном убрусе... Прости-спаси-сохрани тебя, Вседержителю Господи Иисусе...

(я свидетельствую о Расколе)

Я всё-таки добежала сюда. Я свидетель. Што такое свидетель? Свидетель – свидетельствует. Свидетельствую, ибо истинно. А ты, ты разве знаешь, што оно такое, истинно? Што есть истина? Так Понтий Пилат Иисуса спросил. И што Господь ему, наместнику императора римского, земному владыке, ответил? Ты сказал. Да, так и сказал: ты сказал. И боле ничего. Ничесоже.

Свидетельствую, што всё оно во времена твои, отче, происходит в матушке нашей Расее ужасно. Раскольно. Мне больно! Што есть Раскол? Земля трескается надвое, натрое, начетверицу, надесятеро, на сам-сто – и расходится. Разымается! Раскалывается. Вот уже расколосась. Реву в голос. А я-то, я – на каком берегу? На правом... на левом?... где верней спастись... а, всё одно погибнешь! молись...

Разве расскажешь тебе, отче Аввакуме, о том, што я видала-слыхала чрез три века после тя?... поведать бы, не шутя... я ж не скоморох... но и не Господь Бог... Нет ничего, што бы по силе ужаса перекрыло то, чему люди сами свидетелями станут. Наудачу да спяну. Хмельным легче: они всееленьки очи закроют с улыбкой – а Мирь под ними качнётся зыбкой, а Мирь под ними с места тихо стронется, и поплывут корабли, и поскачет конница, и полетят железные, крестовидные лютые птицы в небеси... и будут на землю, вниз, бросать смерть... ай, Господи, спаси...

Батюшко!.. навидалась я, наслыхалась. Настрадалась. Как тот, ну, пророк, про него ты мне говаривал, да и боярыне твоей, усердно тебе внимающей, нежно нашёптывал: Нострадамус. Во хранцузских землях жил-поживал, заботливо врачевал, людей из лап чумы вынимал. А ночью – в толстенной книжище, телячьёю кожей обтянутой, всё писал и писал. Скрипело гусье перо... расплывалось чернило... Увидати, што будет – не то, што было. Он, Нострадам, и стальных адских птиц в небесах тайным внутренним оком видал. И тяжёлые коробки, сработаны из железа, а на них пушки, и стреляют; и всё живое в округе враз помирает – от края до края... А ведь землю нашу можно убить лехко, просто! И ни слова не скажут чужедальние звёзды. И ни лучика приветново нам, мертвецам, не бросят равнодушные звёзды. Убить – просто. Умереть – тоже просто. Жизнь недорога; а смерть ищо боле дешевá. Подкладывай в топку людские поленья! Жарко горят дрова!

Мы, отченька, в минувшем веке пережили две грозных войны. А малых войн и не счесть; лишь о них у бедных матерей сны. Уходят на войну – и не вернуться сыны. Глаза от слёз навеки солонны. В начале века родился новый великий Раскол. Мирь весь безумный трещинами пошёл. Люди как озверели. Убивали друг друга таково жестоко! Армии шли друг на друга. Заслоняли ужас вышитым ликом Бога. Воздымали хоругви, штандарты и иные знамёна. Кровь хлюпала под ногами. Лилась с небосклона. Кровь, она ведь всё помнит. И во мне она шумит настойчиво и устало. Мне она поёт: дитя, начинай всё сначала. Вымани из норы войну. Стань охотницей! Может, ея-то ты и застрелишь. Горькими семянами на зубах молодых смелешь. Я помню и вторую страшную битву, в середине минувшаго века. Мильоны убитых, забытых закрывал полог снега. Снег молчал. Снег валил. Морозы такие настали – хоть стой, хоть падай. Немец на нас тогда войною пошёл; и пластами, слоями жизнь обращалась в падаль. И люди людей вешали. Кололи штыками. Жгли огнём. Взрывали торпедой. Свидетельствую, ибо истинно! И мы били, били врага, били и гнали, до конца, до венца, до самой победы.

А ты, ты-то ведь таково рыдал, когда увидел скотину мёртвую на дворе у соседа... рыдал, Бога Господа пред образом поминал, шёл впервые по Господнему следу, ибо лишь Господь может тебе показать, как в радость обращается гибель, в имярек – любимое имя; а ты горько плакал, всё о душе, ей одной исполать, бессмертной, между смертными всеми другими...

Свидетельствую, ибо истинно! Разрубили нашу древлюю веру мечом! Скажешь, отче, Царь ни при чём, и Никон, твой шабёр, ни при чём?! Я-то вижу, да и ты уж зришь, как воистину в Господа верующие идут, собираются в срубы, штобы чрез минуту древняный гроб факелом возжечь, вознести к ночному небу огненный меч... как молитву последнюю шепчут горящие губы... Скажешь, зачем люди себя убивали?! И ты не остановил! Ты знал: так будет в конце, и так было в начале. Это выбор свободный, нам даёт Господь ево смело: иди хоть во смерть, хоть в бессмертье, ибо оба – без края-предела!

Кровь... кровь... Ты ей не прекословь. Она снимет с тебя и оковы, и сами следы оков. Человек родится в крови, убитый – уходит, весь в крови лежащ; кровавый на него наброшен, вместо Святой Плащаницы, грязный военный плащ. А война и в миру может завтра, да што там, севодня разразиться; война такая птица, куда долетит, там людям и разбиться. Кровь твоево народа, Аввакуме, што, на

тебе разве? Воззри на Царя своею в одночасье. Вот же оно, всевластье! Лютое горе то, а не счастье. Благодарю Господа, што не родился Царём! Што простолюдинами живём... народом простым, святым и помрём... А кровь, шум крови в ушах, ты же ведь тоже СВИДЕТЕЛЬ, отче Аввакуме, живой свидетель всех судеб, коих не ведала я, всех земель, где я не бывала, всех яств, што я не едала... на колу мочало, начинай сказ сначала... Я-то зрела, как ты мать женила; а ты зрел времена иные – во Время орлиным оком прозревал – в Аримафее со святым Иосифом святое вино выпивал – вдоль по Парфии за Божьим хитонем, по ветру летящим, увился... за руку Марию Магдальскую вёл... слышал, как громко, трубно вопил Вербного Воскресенья осёл... а дорога пылила... а Господь ехал на смирном осляти к Своей могиле... и к Воскресенью... и к Вознесенью... сидел ты в мрачном, полночном саду Гефсиманском в сиреновой страшной, влажной и звёздной сени... последний цвет аромат... последний запах смолы кедровой... о, кедры Ливанские, царственны, черны и суровы... это ты, ты, отче, слышал со Креста последнее Господа слово... **ВЪ РУКИ ТВОИ ПРЕДАЮ ДУХЪ МОЙ** – не правда ли, так Он сказал?... повтори, повтори это мне снова...

Кровь. Она твой царь, хан, князь и шах. Она тихо и мощно, упорно шумит в ушах. Она омывает тебя, и в памяти вспыхивают твоей то шёпоты: люби!.. – то вопли: бей!.. Кровь течёт из раны во вне – это сквозь красную линзу Время глядит на просвет. Кровь течёт тебя внутри, в тишине – это значит: а смерти нет. Ея и в самом деле нет, разве ж я тут бы стояла, батюшко, рядом с тобой, в тебя из времени плеснулась, яко прибой?... весь в крови мой там, за спиною, последний бой. А нынче сердце мне своё открой! Сколько раз в ночи, то ль во сне, а то ли нет, я шептала-бормотала твой – Господу – неслышный обет; твой потайный ирмос; твой последний кондак; на память вызубрила... зажала в кулак... Скольких я хоронила! Бессчётно. Не вспоминать. От Тигра, Евфрата и Нила стелилась кровавая гать. Не слёзы текли, а кровушка из ослепших очей... пел над убитым соловушка во мраке ночей... Кровь. Она въедается в землю. Ея впитывает земля. Кровь. Я ея не подъямлю. Ползёт, красная змея. Вширь, вглубь, и вдаль, ищю дальше, далёко, закатной алой рекой. Кровь. Она так одинока. Ея коснуться рукой. На деле, на самом деле – в ней толпы, вече и гам, сраженья, сабли, постели, где роды и фимиам, в ней лица просвечивают, близко, далече, горят красные свечи, пылают голые алые плечи, небо красные ядра мечет, летит в зените красный крик, да не птица то, хищный то человеке, кровавую пищу клюёт, глазом красным косит в народ, говорят, так в небе летит любовь, а кровь? Ей не надо слов. Ей ничего не надо. Ни пули. Ни взгляда. Она течь рада, и литься рада; она Богу на Кресте Распятому – награда; она вся вылилась в чашу Грааля; ея жадно выпила сухая земля, там, где мы не бывали; там, где мы не стояли; где мы не молились; так, отче, давай хоть нынче помолимся, сделай милость...

О, ты встаёшь... ты тоже слышишь шум крови... уста твои для молитвы наизготове... Молитва – это и сон, и объятие, и блаженство, и прощенье, и бой... бой последний... давай, начинай, мы оба сейчас за кровавой, кровной обедней...

Ты, отче, ходил по камням Рима, по скалам Эллады. И живой остался!.. твоя жизнь мне наградой, усладой. Твоя жизнь мне отрадой. По Руси мы оба ступаем. Инда по Эдему, по яблочному, вишнёвому Раю. Мандарины в густо-зелёной листве... во смарагдах – топазы... Если уж умирать, отче, так с тобою и сразу; штоб не мучили долго; штоб не расходились страданья по красной воде кругами; и стану я тогда – красная ёлка, зело изукрашенная красными звёздами, алыми снегами... Я слышу кровь. Она, отченька, тихо звенит. Она колокольна. Оттого, когда ея проливают, так тяжело и больно. Так остро и больно. Так вольно – и больно! Сколько раз я стучала лопатой в мёрзлую землю, штобы любовь мою схоронить достойно... А земля кровила. А земля – под лезвиём – мне в лицо брызгала кровью! И я клала любовь во могилу, и зарывала, и сажала цветы в изголовье, красные цветы, и они кровоточили жадно, и со креста чугунного ту кровь не смою ни сияющим бешаным летом, ни тусклой слюдяною зимою... Кровь, солёная, горькая... на губах. Это раненых я целовала. Кровь на вёслах, уключинах, на руках, я в лодке по разлившейся крови гребу ко причалу, к бедной пристаньке, в красных огнях, а волна мя пьяно шатает, и што будет со мною в иных временах, один Господь знает... Выпить красного, да, в помин. Зашвырнуть в разливы крови бутылку. Сквозь красную толщу виден рыбий сверкающий клин, видно рыданье моё на родной могилке. Видны все старые избы весей. Все древние стены забытых градов. Кровь, это просто музыки взвесь, а большево и не надо. Кровь, воли игра, Времени чётки, картография горя, Время нами играет, в крови умирает, внутри наших вздутых жил, с нами не споря, кровь, таинственная

река, разливается снова, красный лёд ветра солёно ломают, кровь, ты умер, а в роду твоём твоя кровь живая, о, так тяжко, длинно шумит, и встают во крови виденья, одно, другое, третье, о чём она говорит, зачем длит прощенье и наважденье, кровь, солёно, хинно, полынно, горько, горячо, текуче, встают народы, войска и семьи, династии, военные тучи, она, свободная, широко и нагло льётся меж всеми, кровь с кровью сплетается, люди друг друга опять зачинают, тому кровь чужая, убей, а тому, о, прости, родная, кровь, вязкий плов чужеземной победы, кровоподтёк на месте оков, кандалов, забытые снежные Веды, кровь берут в полон, кровью клянутся, кровью на песке пишут заклинанья, кто в запретную кровь влюблён, нынче скотом пойдёт на закланье, кровь на морозе дымится, летит красным и белым паром, всё, что омыто кровью, всё пришло неслучайно, недаром, кровь, батюшко Аввакуме, я тебе бормочу, не слушай, для иной, небесной музыки отверзни слух свой, открой крылатую душу, кровь, это музыка, отче, это целый громадный оркестр, это варган, это жалейка и дудка и лира, я слышу кровь окрест, я вижу алый флаг ея – на пол-Мира, в крови сшибаются, плачут, летят тела, выпирают локти, кулаки гранатами вон вылетают, кровь, а может, любовь, несвятая, да брось, святая, всё красное свято, алой заплатой кровь на мне, на тебе, на тех, кто был и кто будет, морды коней, танков гусеницы, человек в крови, это страшно, больно и гордо, кровь, рода клеймо, дымы крематориев, пылающих изб, госпиталей, полных красных криков до неба... кровь, ты ей не прекословь, отче, она же тебе насущнее хлеба... кровь даждь нам днесь... Мирь, гляди, в крови весь... это Раскол, разрубили нас, разрубили... на душистое сено – и вопли измены... на святую молитву – и хищную, в задыханье, ловитву... на Положенье во Гроб – на дикий, последний вопль на могиле – и на Второе Господне Пришествие, в торжестве, во славе и в силе...

А любовь куда же от крови забрать... кровь, она любви и отец и мать... голая румяная баба выбегает на снег... свет струится у ней из-под век... в баньке, шипя, на камелёнку из ковша плещет вода... красная жизнь... теперь и всегда... я так люблю ея, вот беда... отченька, ну обними мя, я ж не изо льда...

* * *

(иду искать мой дом)

Мама ты знаешь тут всё разбомбили Мама это просто страшный сон мне снится Ты меня разбуди и проснись в крови в поту в мыле Проколовшая небо и время живою спицей Мама я больше всего боюсь после взрыва пыли Она забьёт лёгкие нос рот сердце и печень И не будут светить никакие глаза как свечи Мама я больше всего боюсь чтобы тебя не убили Мама я тебя не смогу спасти если что ты знаешь А ты ведь давно умерла как забыть могла я И умер отец а я вот дрянь такая живая Но я противного свиста боюсь вот она пуля шальная Мама я знаю как пахнет война ни хлеба ни йода Соль в виде пороха крик в виде песни Война она повторяется год от года И новая грянет ещё оглушительней мракобесней Мама я просто дура но мне очень страшно А вдруг полетит на нас много смертей слева и справа Меня взорвут и стану в воротах Рая Ангельской стражей Сама себе призрачный Мирь сама себе хлеб и держава

Мама жизнь всё дальше а смерть всё ближе Давай я пойду искать наш дом я его потеряла Его взорвали надо жизнь начинать сначала Всё вру надо смерть начинать сначала Мама я больше всего боюсь что ТАМ тебя не увижу...